

Александр Валентинович Амфитеатров

В стране любви



Александр Валентинович Амфитеатров

В стране любви

Аннотация

«— А теперь, синьор форестьер, если вам угодно меня выслушать, я желал бы сказать вам несколько слов.

Говоря это, Альберто опустил весла. Лодка, шибко разогнанная им против невысокой волны, с размаху через нее перескочила и мерно закачалась на зыби моря, белого, как молоко, под белым облачным небом. Иностранец, к кому Альберто обратился с речью, поднял глаза, удивленный резким тоном лодочника. Взгляд, встреченный им под нахмуренными бровями Альберто, оказался таким же недружелюбным, как и голос...»

Содержание

I	4
II	15
III	25
IV	36
V	44
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Александр Амфитеатров

В стране любви

Милому человеку и прекрасному артисту

Сергею Ивановичу Горелову,

художественно воплотившему образ

«Альберто»,

посвящаю эту повесть и вышедшую из нее пьесу.

Александр Амфитеатров

Cavi di Lavagna 1910 7/VI

L'amour est comme ces arbres à l'ombre desquels meurt toute végétation. L'homme qui aime une femme, non seulement n'aime rien autre chose, mais finit par ne rien haïr non plus. C'est en vain qu'il cherche dans les replis de son coeur toutes les préférences, toutes les sympathies, toutes les répugnances, tout cela est mort mort d'indifférence

Alphonse Kars¹

I

– А теперь, синьор форестьер, если вам угодно меня выслушать, я желал бы сказать вам несколько слов.

Говоря это, Альберто опустил весла. Лодка, шибко разогнанная им против невысокой волны, с размаху через нее перескочила и мерно закачалась на зыби моря, белого, как мо-

локо, под белым облачным небом. Иностранец, к кому Альберто обратился с речью, поднял глаза, удивленный резким тоном лодочника. Взгляд, встреченный им под нахмуренными бровями Альберто, оказался таким же недружелюбным, как и голос.

Берег был далеко. Городок и пристань, откуда полчаса тому назад лодка унесла двух пловцов в открытое море, утонули за горизонтом, над которым чуть виднелись синие тени окутанных туманом гор.

Альберто и иностранец были одни в просторе морской тиши. Небо над ними, – бездна под ними.

– Конечно, говорите, Альберто! В чем дело? Вы как будто расстроены... Надеюсь, не случилось никакой беды?

Смуглые щеки Альберто стали бронзовыми от румянца, бросившегося ему в лицо.

– Видите ли, синьор, – смущенно заговорил он, – я много доволен вами. Вы щедрый господин и даете хорошо заработать бедному человеку. Я никогда не слышал от вас грубого слова. Я! А что такое – я? Простой *marginajo*²; лодки да купальни – вот мое дело...

– Без предисловий, Альберто! Зачем рассказывать мне то, что я и сам, без вас, прекрасно знаю?

– Затем, синьор, что я, по своей должности, привык к обращению с иностранными господами; я много их знаю, меня многие знают, и все меня любят. И больше вас никто мне

² Матрос (*ит.*).

по душе не приходился. Вы много платите мне за наши поездки, но, честное слово, я к вам не за это привязался: хорошо платят и другие, а просто – славный вы человек, вот что. И тем печальнее мне говорить вам не слишком-то приятные вещи...

– Час от часу не легче... Не тяните, рассказывайте напрямик: что, как и почему...

На бронзовую кожу Альберто легли тени еще темнее – точно все впадины лица стали еще глубже, а выступы – еще резче; через лоб, наискось, вздулась, как бечевка, синеватая жила.

Он машинально схватил весла и двумя-тремя ударами двинул лодку на несколько сажень вперед; потом со стуком положил весла на борт и скрестил на груди мускулистые голые руки.

– Дело простое, синьор! – сказал он отрывисто и грубо, с враждою глядя прямо в лицо иностранца. – Зачем вы сбиваете с пути Джулию?

Иностранец широко раскрыл глаза.

– Я сбиваю с пути Джулию?! Альберто! Во-первых: как вы смеете задавать мне такие вопросы? Во-вторых: откуда вы эту глупость взяли? Какая сорока принесла вам ее на хвосте?

– Простите, синьор! – по-прежнему хмуро возразил Альберто. – Конечно, я помню расстояние между нами... Но когда вопрос касается моей невесты...

– Невесты?! – перебил иностранец. – Джулия ваша невеста.

ста? Давно ли?

– Я посватался к ней в день Троицы.

– И она приняла ваше предложение?

– Нет, не хочу лгать. Она мне не сказала ни «да», ни «нет».

Сказала: «Ты подожди, а я подумую...» Она ведь так еще молода, синьор. Но она скажет «да», синьор. Клянусь вам, что скажет... Если только... если...

Он замолчал и исподлобья, косо поглядел на иностранца.

– По вашей выразительной физиономии легко догадаться, что значит это «если», – усмехнулся иностранец. – Не косите так страшно глаза, Альберто... Вылитый Таманьо в «Отелло». Успокойтесь. Мне столько же дела до вашей Джулии, сколько – вон до той волны, что бежит на нас... Посмотрите, какой чудесный, белый гребешок на ней, как он змеится и зыблется... Вот бы зарисовать!.. Да! Так о Джулии-то... Она красивая девушка... Даже очень красивая, чрезвычайно; если хотите, редко такую можно встретить. Я художник, родился я на севере... Ух, Альберто, на каком севере! Вы бы в моем Петербурге умерли от хандры... Я его и сам терпеть не могу. Всегда и отовсюду меня на юг тянет: и жизнь здешнюю люблю, и работать здесь хорошо. И темы моих картин – все ваши, южные: голубое небо да горячее солнце... Вот теперь затеял писать «Миньону». Вы ведь, кажется, были у меня в мастерской, видели наброски...

Альберто утвердительно кивнул головою. Художник продолжал:

– Более подходящей модели, чем ваша Джулия, я и представить себе не могу. Я натурщиц десять переменял, пока не набежал на нее. С нею моя работа идет успешно, и я очень благодарен ей за это. Затем, у нас с Джулией точно такие же отношения, как с вами. Вы возите меня в лодке по морю, – это доставляет мне удовольствие, – я вам плачу. Джулия позирует для меня час-другой, – это доставляет мне пользу, – я ей плачу. Вот и все. Мы друзья с нею, как друзья с вами. Вы знаете, что я люблю ваш народ и, если не ошибаюсь, то и меня здесь любят. Вообще, я очень люблю, чтобы меня любили... Я с Джулией ласков, болтаю, шучу, пою ей иной раз русские песни, а она мне – *Sarta* и *Chiave*³, в карты раза два играли, как и с вами, Альберто. Что же сказать вам еще? Я сделал десять набросков с ее прелестной головки; сделаю еще пять, – моя «Миньона» окончательно выяснится у меня в мыслях, и я уеду в Рим, вместе с пятнадцатью Джулиями в карандаше и красках, а вы останетесь с настоящей. И чем скорее это будет, тем лучше, потому что мне ваше Виареджио уже надоело.

Лицо Альберто несколько прояснилось; он медленно взялся за весла и, задумчиво глядя вдаль, пенил воду, заставляя лодку вращаться на одном и том же месте.

– Все это так, синьор, – нерешительно сказал он, – я и сам полагал, что такой прекрасный господин, как вы, не захочет ставить ловушку бедной девушке. Но ведь вот оказия!

³ *Sarta* и *Шива* (*ит.*).

Беда приключается не потому, что ее ищут, а сама приходит, незваная. Вы, – я вам верю, – вы ничего не хотели дурного, синьор, а девка-то в вас влюбилась. Честное слово, влюбилась...

– Полно вам, Альберто! У вас – бедных южных чертей – воображение вечно отравлено любовью и ревностью...

– Нет, уж вы мне, синьор, поверьте. Ведь я ее люблю. А у нас, влюбленных, на этот счет особое чутье. Мы чуем соперника, как собака лисицу. Да... наконец, она и сама довольно ясно намекнула мне на это...

– Вот как! Интересно...

– Она, синьор, думает, что вы и в Виареджио-то живете ради нее...

– В этом, как вы слышали, она и не ошибается.

– Нет, – для нее, для нее самой, а не для картины... Мечтает, будто вы возьмете ее в Рим, а потом и в Россию. А картина – это так, один предлог, любовная маска. На днях я спросил ее: «Джулия, как же ты надумалась относительно меня?»

А она мне в ответ: «Никак, Альберто; погоди, куда ты спешишь, чего боишься?» – «Как, – говорю, – мне не бояться за тебя, Джулия? Девчонка ты молодая, красивая, – вон с тебя картину даже пишут; служишь ты на народе, при купальнях, все форестьеры выются около тебя, ухаживают, врут глупости, а ты слушаешь, развесив уши. Думаешь, – мне это сладко? Как же! Я бы им, приедем дьяволам, – простите, синьор, это не про вас, – головы попроломал веслом, кабы меня

хозяин не прогнал за это с места. Сделай милость: женимся скорей да и бросим все эти пустяки». Она, синьор, смутилась этак, замялась... «Выйти за тебя, Альберто, можно бы, да ведь это значит так навеки и похоронить себя в трущобе этой, в Виареджио». – «А куда же нам еще? Тут у меня и домишко, и земелька, тут и дед, и отец мой жили, всякий меня знает и почитает, даже господа форестьеры, как приедут на сезон, сейчас же спрашивают: „А где Альберто?“» Она поморщилась, вздохнула... «А мне бы, – говорит, – хотелось уехать отсюда – куда глаза глядят, далеко-далеко... Скажи-ка, Альберто, – ты моряк, бывал в разных краях: что это за страна такая – Россия? Какое в ней солнце, и как люди живут?...» Слышите, синьор?

– Слышу. Дальше.

– Я, дурак, принялся ей рассказывать, как мы стояли в Одессе с грузом, но вдруг у меня в голове, знаете, просветлело... «Вот что! – думаю, – вот ты какая!..» Весь я тут, синьор, закипел и стал ее ругать!..

– Джулия?

– Известно, в долгу не осталась – тоже меня ругала...

– А затем?

– Я обещал ее прибить, если она не поумнеет, и решил поговорить с вами. Дня два не осмеливался, а вот... Оставьте вы Джулию, синьор! Ну ее к бесу, эту вашу картину!..

– Как «ну ее», Альберто? Бог с вами! Да ни за что. Я не ремесленник, не поденщик – мне мое искусство дорого.

– Вам жаль малеваного полотна, – укоризненно качая головой, перебил Альберто, – а живых людей вы не жалеете. Ведь вы нехотя можете погубить девку, а с нею – и меня. Да уж что скрывать? Прежде, чем меня-то, – и себя. Потому что, если Джулия меня бросит, – мне жить не для чего, но обиды этой я ни вам, ни ей не прощу... А у нас в Тоскане, – вы знаете...

– Вы меня не пугайте, Альберто, – серьезно остановил художник, – я этого терпеть не могу. Говорят же вам, черт возьми, толком, что до вашей Джулии мне нет никакого дела!

– Ах, синьор! Да ведь Джулия молода, красива, любит вас. Что же вы – деревянный, что ли? Сегодня нет дела, завтра нет дела, а послезавтра, глядь, и закипела кровь... А бедному Альберто что останется? Ножевая расправа – вот что! Вы думаете, очень мне хочется этого? Думаете, большая сласть – губить чужую и свою душу? Бросьте вы эту картину, синьор! Право, бросьте! Ну, пожалуйста! Умоляю вас! Для меня бросьте!..

– Чудак вы, Альберто!

– А то найдите себе другую, – как вы ее там зовете? – Миньону, что ли?.. Не одною Джулией свет сошелся. Посмотрите на рынке фруктощицу Анунциату: чем не красавица?

– Видел. Хороша, да не подходит. Когда буду писать какую-нибудь Лукрецию или Виргинию, ее возьму, а теперь – спасибо. При том у Анунциаты, наверное, тоже есть какой-нибудь свой Альберто или Изидоро, которому мои се-

ансы станут поперек горла. Нет, Альберто, – и картины я не брошу, и Джулию ревновать вам нет резона... Тем более, что скоро конец...

– Ничего из этого конца не выйдет доброго, синьор. Оставьте Джулию.

– Да слушайте же вы, упрямая голова! – уже вспыхнув, возвысил голос художник. – Неужели вы не понимаете, что вы, собственно, даже и права-то не имеете приставать ко мне с этим? Какой вы жених Джулии? Она вас не любит; пойдет за вас или нет – неизвестно, вы сами сознаетесь. Я бы мог оборвать вас по первому вашему слову. Но я несколько научен понимать людей и чувствую, как вам скверно. Слушаю вас, хочу вас успокоить, а вы, зажмурив глаза, лезете, как баран лбом на стену, на меня – человека, который не сделал вам ничего, кроме хорошего. Ладно. Вы ревнуете Джулию ко мне. Зачем же вы не ревнуете ее ко всей этой золотой молодежи, что окружает ее у купален, нашептывает ей нежности, берет за подбородок, щиплет, обнимает? Ведь у меня в мастерской никогда не бывает ничего подобного, да и быть не может.

– Я знаю, синьор.

– А сколько раз я видал, Альберто, что вы смотрели на такие проделки с самым философским равнодушием... Да и сами вы – какой святой! Джулия еще ни разу не царапала вам глаза за то, как вы учите форестьерок плавать?

– За что же, синьор? Это ремесло. Она – купальщица, я –

marginajo. Во всяком деле есть своя манера, с этим надо мириться.

– Вот как! Отлично. И у меня есть своя манера: брать хорошую натуру там, где я ее нахожу. Вы женщин купаете, а я – рисую, значит, и останемся каждый при своем. Вы не уступаете мне свою Джулию, – кстати, мне ее и не надо, – а я не уступлю вам своего права ее написать...

– Это ваше последнее слово, синьор?

– Последнее, решительное, окончательное, – и баста толковать об этом!

Альберто побледнел так, что у него глаза сразу окружились темными венчиками и нос как будто заострился...

– Так вот же вам, синьор, и мое последнее слово, – сказал он тихо, отдельно и внятно. – Я... я вам не верю. И если Джулия еще раз будет у вас в мастерской, мы – враги. И... чем скорее уедете вы из Виареджио, тем лучше для вас.

– Кажется, вы опять грозите мне, Альберто? Что же, вы убьете меня, что ли?

– Я ничего такого не сказал, синьор. Но я – тосканец и сумею постоять за себя.

– Очень хорошо. Стойте! – ваше дело. А теперь не угодно ли вам будет повернуть лодку к берегу, потому что вы страшно надоели мне, Альберто, и отравили всю мою прогулку...

– Синьор...

– Так, что признаюсь, меня сейчас разбирает большая охота взять вас за горло и швырнуть в воду. Ведь я втрое сильнее

вас. Но так как это гимнастическое упражнение представит некоторые неудобства для нас обоих, то лучше – к берегу, Альберто, к берегу.

II

«Вот не было печали, – черти накачали! – думал художник, идя медленным шагом от моря в свой отель. – Терпеть не могу всяких историй, а уж особенно романических. Да еще здесь. Народ-то они добрый, эти тосканцы, но только в каждом из них сидит черт; сидит и спит; а чуть разбудишь его, – сейчас и пошла поножовщина. Но и отступать я тоже не имею охоты. Это значило бы струсить, – раз. Два: что же я буду делать без этой девчонки? Мне моя Миньона денег стоит. Так вытанцовывается, что, пожалуй, на будущей передвижной окажется лучшим полотном... С Третьякова хорошие капиталы взять можно. А без Джулии ни беса лысого не выйдет, не то что Миньоны. Эта девчонка открыла мне настоящую линию, и я чувствую, что если уйдет она, то, пожалуй, и линия уйдет. И выйдет у меня вместо Миньоны либо какая-нибудь девка-чернавка, либо тусклятина с правильным рисуночком: руки в боки, оки в потолки! Как всегда, наш брат пишет, когда имеет мысль, но теряет вдохновение: весьма много „идеалу“ и еще больше бесцветности...»

– Ларцев! Андрей Николаевич! Андреа дель Сарто! – окрикнул художника ленивый мужской голос.

Художник поднял глаза и на балконе, повисшем над двумя совсем пунцовыми от цветов олеандрами и олеандрами же густо заставленном, увидел своего заграничного знако-

мого, Дмитрия Владимировича Лештукова. Он сидел в тени, перевесив одну руку через перила балкона, а из другой сделал щиток над глазами и, жмурясь от белых отсветов залитого ярким солнечным блеском дома насупротив, ласково улыбался художнику.

– Вы с моря? А я не ходил. Ну их, надоели...

– Кто надоели?

– Волны надоели.

– Да помилуйте, море сегодня, – как есть, – барашек! Волна-одно только звание, что волна. Кроме приятного массажа, ни на что не годится; так, – чешет тебя слегка и, как говорил Иван Федорович Горбунов, шерсть со шкуры сводит...

– Ну и благо желающим! А я их – волн ваших – видеть сейчас не могу. Что это море разделявало на заре, – вы и представить себе не можете! Ведь вы, конечно, по обыкновению, проспали часов четырнадцать сном праведника?

– А вы, конечно, по обыкновению, изволили блуждать всю ночь бессонною тенью?

– Нет, я спал; выпил вчера на ночь фиаску chianti⁴ и завалился около полуночи в постель. И тотчас же начало мне сниться, будто я солдат, *будто* я бежал из полка и будто меня за побег гонят сквозь строй. И барабаны – большие турецкие барабаны, штук десять – дробь выколачивают. Просыпаюсь, а это, изволите ли видеть, ласковое пение голубой средиземной волны. Два часа, тьма египетская, сна – ни в одном глазу.

⁴ Кьянти (*ит.*) – тосканское вино.

Понятное дело, – встал, сел читать...

– Небось своего Ломброзо?

– Ломброзо. Море рычит-рычит да ахнет, рычит-рычит да ахнет, и что хуже: этот ли его постоянный рык или это промежуточное аханье, – не могу сказать вам. Знаю только, что если бы я мог старика Нептуна, вместе с его конями, отдать на живодерню, ни минутки не задумался бы – и пропадай вы все вместе: поэты, художники, музыканты и прочая публика, кормящаяся морскими вдохновениями. Однако, что же вы там стоите? Зашли бы. У меня здесь *chianti* с места, *di prima qualita*⁵, сифон, лед, коньяк, – все, что требуется по нашему туристскому положению.

– Это с утра-то? – протестовал художник. Однако зашел.

– Могу сказать: хорошо вы выглядите сегодня! – заговорил он, усаживаясь в кресло против Лештукова.

– А что? Некрасив?

– Нет, нельзя сказать, довольно даже интересен; ежели показать барышне с чувствами, – будет тронута: Гамлета, принца Датского, – хоть отбавляй. Только знаете что? Полечились бы вы от бессонниц. Эта гамлетистость сильно на лихорадку смахивает. Розовые тона, милый человек, лучше всего.

– От чего лечиться, когда я совершенно здоров? Я вон вчера в лагерь к берсальерам⁶ попал; шутки ради, малость пофехтовали, – троих затомил, а сам был вот такой же, как

⁵ Первосортное, высшего качества (*ит.*).

⁶ Стрелки (*ит.*).

теперь меня видите. А хотите гонку устроим? На веслах в Специю или в Ливорно? Вы, я да Альберто; с Альберто пойду вровень, а вам, пожалуй, час вперед дам. А что не сплю я, – тому имеются причины. Оставим меня. Как поживает Миньона?

– Двигается, быстро движется. Да что, батюшка! Я, признаться, в большом смущении.

Андрей Николаевич передал Лештукову свое объяснение с Альберто. Лештуков слушал его, прищулив глаза, как бы в полудремотном состоянии.

– В достаточной степени глупо, – вяло сказал он, когда художник умолк, – и, признавайтесь уж по чистой правде! – у вас, в самом деле, нет ничего с этой Джулией?

– Уверяю вас – нет.

– То есть, как есть ничего, – ни-ни?

– Вот именно ни-ни.

– Да я не говорю вам про что-нибудь серьезное: роман, связь, – а так, может быть, маленький флирт?

– И флирта никакого не было.

– Напрасно!

– Вот тебе раз! Почему же это?

– Вы как-то раз проходили вместе с нею мимо моих окон. Я и пригляделся. Этакая вы славная парочка крайностей. Она – воплощенный юг, молодой, сильный, огненный... вот с этим солнцем, что выращивает эти пламенные цветы, с этим солнцем, под которым, кроме любви, и думать-то ни о чем

невозможно... У меня когда-то родилось довольно нелепое четверостишие, – уж не помню, право, почему и для кого я его написал:

Темны и тихи были очи,
Как полночь южная сама,
Но всеми звездами полночи
Горела ярко эта тьма!

Ничто не исчезает из мира. Всякая нелепость на что-нибудь пригодится. Даже и стихи. У вашей Джулии такие глаза. Ведь правда?

– Да, оно точно, глаза забористые.

– А вы, Ларцев, – север. Если доживете до карнавала в Риме, нарядитесь-ка рыжебородым Тором. А? Что вы на это скажете? Плечища у вас – косая сажень, волос больше, чем полагается даже для художника, бороду вы украли у Рубенса, а засим, примет особых нет, лицо чистое, нос и рот обыкновенные, как пишут в паспортах. Вы когда-нибудь бываете не в духе? Злитесь?

– Нет, злиться подолгу не случалось. Вспылить могу. В ярость раза два в жизни приходил.

– У вас, должно быть, глаза тогда совсем белые становятся, этакие большие, жестокие и со стальным отливом. Ведь правда?

– Не знаю, может быть. В зеркало не смотрелся. Да что вы меня разбираете по статьям, точно лошадь? В роман, что ли,

всунуть хотите?

– Не знаю, может быть, и в роман. Чем же вы не герой романа? У вас, кстати, и сюжетец наклеивается. Но насчет глаз – это я не потому. Был у меня, видите ли, приятель, такой же, как вы: белокурый, краснощекий господин, с вечно голубым светом в глазах. Но в один прескверный день увидел я своего краснощекого друга вместо розового бледно-серым и с глазами, как две большие оловянные ложки. Тупой, пристальный взгляд, веки не мигают, выражения никакого: смотришь в эти глаза и не оторвешься, точно загипнотизирован. Вижу: ни сознания, ни памяти, ничего живого не осталось в человеке. Стоит предо мною – не рассуждающая, заведенная на ярость машина великого гнева и мести. А потом он, не говоря мне дурного слова, вынул из кармана револьвер и принялся в меня палить.

– В вас?

– Да, в меня. Я у него жену увез. Два месяца мы с этой дамою путались по Европе, а он нас повсюду по Европе искал. Нашел в глухой нормандской деревушке, где мы ужасно скучали, – я ей надоел, она мне надоела, – оба думали об одном: как бы нам попрстойнее и поэфффектнее устроить решительную любовную ссору и благородный разрыв. И вдруг, накануне, так сказать, самого благоприятного конца романа, является этот бешеный с своим револьвером. Три раза в упор стрелял, сюртук мне испортил, и если бы не серебряный портсигар в кармане, я бы, конечно, не имел удо-

вольствия с вами сейчас разговаривать.

– Так-с. А дальше?

– Я не помню, каким образом вырвал у него револьвер, и опять-таки не постигаю, когда мой Отелло успел впасть в истерику. Бьется человек на полу, как Геркулес в отравленной тунике, хватается за мебель, – ножки у кресел трещат. Я на него целый умывальник воды вылил да в нутро ему графина два влил. Очнулся, сидит, дрожит, молчит. И я сижу, молчу. Потом вдруг молит меня – тихим таким, смирным голосом: «Где Ольга, Дмитрий Владимирович? Верни ты мне ее! На что она тебе? И прости мне все, что было!» Конечно, я ему простил... Отчего же не простить? Сюртук не Бог знает каких денег стоит. А вот он-то простит ли меня? Его горе – не дыра на сюртуке. Я тогда сейчас же вышел из дому, даже вещей не собрал, рукопись начатую на столе бросил, сел в поезд и уехал в Париж. И больше мы ни с этим господином, ни с супругой его никогда не встречались.

– У вас таких историй много, Дмитрий Владимирович?

– Был молод – был глуп. Теперь все это – дела давно минувших лет. Шампанское выпито – остались кислые подонки. Итак, Джулия – юг, вы – север. Вы – рыжебородый Тор, она – Миньона. Вы – трансальпийский варвар, явившийся покорять прекрасную Италию, она – прекрасная Италия, желающая быть покоренною.

– Вы ошибаетесь! Я вовсе не собираюсь покорять. По правде сказать, она мне вовсе не нравится. Она для картины

хороша, под мысль мою подошла. А как женщина, она не в моем вкусе...

– Джулия? Не в вашем вкусе?! И вы смеете в этом признаваться? Вы? Художник? Она красавица, по всем правилам искусства красавица! Если она вам не нравится, вы изменяете девизу вашего цеха. Поклонение красоте – вот ваше художницкое дело. По-настоящему, вы, художники, должны чувствовать себя в жизни так, как мы, грешные, чувствуем себя только в музеях. Нам, чтобы замечать красоту, нужно ее собирать, выставлять, группировать. Вы, призванные эту красоту воспроизводить из мрамора и красок, обязаны ловить ее повсюду, хватать живьем, вечно стоять на ее страже и наготове преклоняться перед нею! Да что с вами говорить! Я не художник, я не имею дела, как вы, с этою поэзией живых форм, с поэзией тела, с этою осязательною, наглядною красотою, такою понятною, простою и такою великолепною. Мы, мученики стального пера, – бедняки в сравнении с вами, счастливыцы – вы! Нас отвлеченности дают, нам теории поперек горла становятся, то скорбь гражданская, то скорбь мировая, от нас не красоты – тенденции да «серенькой действительности» требуют; а вы, блаженные, идете тропинкою, обложенною справа и слева розовыми кустами. Вы имеете дело не с серенькою, а с самою непреложною действительностью, какая только есть на свете – с красотою. Ох, как я понимаю этих каналов-греков, Андрей Николаевич, со всеми их Аполлонами и Венерами! Вы верите в переселение душ?

Знаете, я иногда думаю, что некогда, в той толпе, которая преклонилась пред входящею в море Фриною, я был не последним крикуном... Вы что-то хотели сказать?

– Нет, ничего... Посторонняя мысль... – отозвался художник, с легким оттенком смущения в голосе и чуть-чуть краснея.

Лештуков внимательно взглянул ему в лицо, и брови его дрогнули.

– Вы еще очень молоды, – отрывисто сказал он. – У вас на лице можно читать, как в развернутой книге, а это нехорошо. Века, когда глазам полагалось быть зеркалом души, давно прошли. Хотите, я назову вам вашу «постороннюю мысль»? Ведь она обо мне была?

– Уж если вы такой пронизательный, – принужденно засмеялся художник, совсем пунцовея, – то – да. Мне хотелось сказать: «Как же вы-то сами, вы – такой поклонник истинной красоты – равнодушны к ее прелестям и...»

Художник запнулся.

– Договаривайте, – медленно сказал Лештуков, задумчиво глядя в сторону, – «И вместо того, чтобы богомольно благоговеть перед святыней красоты, валяетесь бессильным рабом у ног – много-много что хорошенькой-интернациональной барыньки».

– Оставьте, пожалуйста! Я слишком уважаю Маргариту Николаевну, чтобы...

– Чтобы сразу назвать ее, в ответ на мое не весьма почти-

тельное определение, по имени и отчеству, – с горькою улыбкою перебил Лештуков. – Полно! Вам не идет хитрить. Что ж? Вы правы. Логика моей жизни стала в последнее время вверх ногами. А только вот что я вам скажу, милый мой юноша: не судите да не судимы будете.

Лештуков встал; на скулах у него выступили розовые пятна.

– Есть в жизни закон возмездия, и кто легко прожил жизнь, попадает под этот закон там, где не ожидает. В молодости было много бито, граблено, напоследок надо, видно, самому быть ограбленным и убитым. Привычка быть любимым мстит за себя. Много серьезных мыслей, серьезных чувств обращал я в свое время в игрушки для легкого и приятного препровождения времени. И вот игрушки отомстили за себя, и, неисповедимую волею судеб, я сам теперь игрушка... Но довольно об этом и... давайте лучше пить лимонад с коньяком!..

III

Альберто – после того как молча расстался с художником у пристани – долго смотрел вслед Ларцеву, точно сравнивал мысленно свою силу с силою иностранца или искал на его богатырской спине места, куда ему удобнее будет пихнуть ножом.

– Альберто! Альберто! – окликали его из пестрой купающейся толпы мужские и женские голоса...

Было заметно, что этот бравый, смуглый молодец, с простоватым, но красивым лицом, с большою лапою «Умиряющего гладиатора» и мускулами Геркулеса Фарнезе, – любилец всей купальни.

– Ступайте в воду, Альберто! Что вы болтаетесь без дела? – строго заметил ему хозяин – рыжеусый, вовсе не похожий на итальянца, отставной солдат.

Магинайо покрутил головой, проворчал сквозь зубы какую-то ругань и влез в море – мутное, зеленое, с проседью у берегов. Хлопая рука об руку и боком, по-сорочьи, перескакивая через набегавшие валы, он приблизился к limite – веревке, за которую воспрещается выходить не умеющим плавать. На limite повисла бодрая дюжина дам, – целая радуга пестрых купальных костюмов. Дебелая немка, воспользовавшаяся модным покроем купального костюма, чтобы дать публике самое подробное понятие о всем мясе, каким, вза-

мен красоты, наградила ее природа, тотчас же завладела Альберто. Он вяло влачил ее за руки, между тем как сама она, перехваченная поперек тела пробковым поясом, тяжело бултыхала по воде ногами.

– Вы точно пароход, – небрежно заметил Альберто и оставил купальщицу: она не принадлежала к его постоянной публике, – к публике, которая с ним острела, болтала, фамильярничала, принимала от него комплименты, а подчас и дерзости, обучала его коверкать слова и фразы всех европейских языков и за все это время от времени награждала его двадцатифранковиками.

Альберто обвел глазами ряд голов над перилами купальной веранды и нахмурился: он заметил Джулию, полускрытую огромным ворохом купального белья, в оживленной беседе с маленьким графчиком, приехавшим несколько дней тому назад из Вены прополаскивать в море свою наследственную золотуху.

– Нет, нет, нет! – звенел голос Джулии. – Нет, ваше сиятельство. Никогда! Ни за что?

– Один поцелуй, – шепелявил графчик, ковыляя за нею на слабых ножках.

– Поцелуй? Мадонна santissima!⁷ Давы разбойник, граф! Вы бес! Вы дон Джованни!

– Всегда жестока!

– Художник прав, – проворчал себе под нос Альберто. –

⁷ Пресвятая! (ит.).

Сколько народу увивается за эту девчонкой – уму непостижимо!

А Джулия звенела:

– Оставьте, граф, в самом деле. Альберто увидит. Нехорошо. Ведь я почти невеста.

– О, Альберто! Я не боюсь Альберто.

– А не Альберто, так ваша же выползет... Крашенная. Как там ее? Фу, шик дама! Волосы как огонь! Каблуки у ботинок – вот! Шляпа – вот! цветы на шляпе – вот! Прелесть, что за женщина! А вы хотите ей изменить?

Она захохотала, точно жемчуг рассыпала.

– Джулия, вы ангел! – завздыхал граф.

Но она с испугом толкнула его локтем – тем фамильярным жестом, который только итальянцы умеют делать и дружеским, и изящным:

– Осторожнее, вы! Ведь и в самом деле идет. Действительно, на веранде показалась необыкновенно величественная дама, в совершенно нарочном туалете из Парижа и «сделавшая себе лицо», точно она собиралась не купаться, а ехала на премьеру в Grand Opéra или на Grand prix de Longchamps⁸. Тощий негритенок уныло нес за нею корзинку с купальным бельем и мантилью.

– О Иезус! – простонал граф: он в это самое время едва не поцеловал Джулию, – и поспешил юркнуть в кабинку налево.

Дама с негритенком столь же величественно протекла

⁸ Главный приз на скачках Длинного поля (*фр.*).

вслед ему, но, проходя мимо Джулии, не выдержала характера – окинула ее молниеносным взглядом. Джулия, закусив губы, рьяно развешивала белье по перилам. Но когда дама уже протекла мимо, девушка залилась новым смехом, пряча лицо в простыню.

Лештуков, когда расхваливал художнику красоту Джулии, ни мало не преувеличивал. Это была, действительно, одна из прекраснейших девушек, какие когда-либо рождались даже и под южным солнцем. Не большая и не маленькая, стройная, еще не совсем развитая фигура ее производила впечатление поразительной гибкости, юной, девической упругости. Она точно на пружинах была сделана. В ней было что-то дикое и вместе благородное. Черты ее лица были правильны, но полны жизни, – а это редко бывает с правильными лицами; кожа смуглая, но не грубая, янтарно-прозрачная, с румянцем, как на вызревающем персике; огромные глаза, – карие, а не черные, как казалось с первого взгляда благодаря длинным ресницам, – и ослепительной белизны зубы придавали этому вечно улыбающемуся ласковому лицу столько света и веселья, что стоило взглянуть на Джулию, и самому становилось – вместе с нею и за нее – весело. Вот, мол, счастливица, – как она любит жизнь, и как жизнь ее любит! Живет и радуется, не смущаемая завтрашним днем; сколько перед нею хорошего и светлого, и как беззаботно спешит она ко всему своему будущему навстречу!

Альберто сделал Джулии знак. По ее лицу мелькнула тень

неудовольствия. Она с легким поклоном отошла от гостей, которым уже в это время служила, и нагнулась над перилами в то время, как Альберто поднялся до половины лестницы, спускавшейся с веранды в море.

– Ты долго ездил, – сказала Джулия низким голосом, с теми мягкими придыханиями, какими итальянский язык только в Тоскане и украшен. – Много заплатил тебе синьор Андреа?

– По обыкновению, – две лиры... Откуда у тебя эта роза? Альберто кивнул на темно-красный цветок, – точно кровавое пятно, – в волосах Джулии.

– Да он же дал, – синьор Андреа. Она была у него в петлице, когда он пришел сегодня, а потом он отдал цветок мне. Он очень любезный и добрый господин, и вежливый, совсем не похож на тех художников, что приезжают к нам из Рима... Те ребята добрые, только уж очень грубы, а иные и совсем нахалы.

– Дай-ка мне эту розу, – перебил Альберто.

– Изволь.

Альберто взял розу, понюхал, повертел в руках и далеко швырнул в море. Джулия изумленно открыла на него глаза во всю их огромную, сияющую ширину.

– Ты, я вижу, опять взбесился? – сказала она, сердито сдвигая тонкие брови, – скажи, пожалуйста, когда ты будешь умен?

– Таким умом, как ты хочешь – никогда! – проворчал

maginajo, – а уж по части твоего художника – никогда в особенности. Эй, Джулия, берегись! У меня глаза есть!

– А у меня есть руки, чтобы их выцарапать, если ты позволишь себе еще раз так со мною разговаривать! – возразила девушка, гневно засверкав глазами, – как горсть алмазов из них бросила.

– Право, – хоть бы знать: откуда ты набрался дерзости? Откуда ты взял власть надо мною? Ведь я тебе сказала раз навсегда: дальше, что будет, посмотрим, а куда ты мне ни муж, ни жених, ни любовник, и я делаю, что хочу...

– Хороших ты дел хочешь! – пробормотал Альберто, глядя между ступенек лестницы на всплески волн, качавшие чью-то купальную широкополую шляпу, – ты думаешь, я не вижу, к чему ты ведешь?.. Молодая ты девчонка, а уже заverteшься хочешь! Ну да ладно, – этому не бывать! Признавай ты мое право или не признавай, – это твое дело, а мое право – следить за тобою и тебя беречь. Мы с твоим художником сейчас поговорили начистую. Ты к нему больше позировать не пойдешь!

Джулия гордо откинула назад головку и презрительно улыбнулась.

– Вот как! Это, значит, ты мне запретишь?

– Не тебе, – возразил Альберто, – я знаю, что ты упряма, как сто коз, и, если тебе что-нибудь запретить, ты нарочно будешь это делать, – а ему.

– Ты, Альберто, – возразила Джулия, – кажется, вообра-

жаешь, будто ты один мужчина на свете, а остальные – все бабы и тряпки. Прикрикнешь ты на них, и они спрячутся по углам и все сделают по-твоему, тебе в угоду... Запрещать такому человеку, как синьор Андреа, легко на словах...

– Ты увидишь! ты увидишь! – стиснув зубы, говорил Альберто.

– И ты думаешь, что он тебя послушает?

– Послушает, если...

– Ну? – вызывающе кинула ему Джулия.

– Если жив быть хочет.

– Э?! угрозы?.. Вот что!.. – Джулия выпрямилась. – Так знай же ты, мой любезный, что – послушает тебя синьор Андреа или не послушает, – мне дела нет! Я – слышишь ты это? – я, а не он, – хочу, чтобы все было по-прежнему, и я буду ходить к нему, и он будет рисовать меня. Я хочу быть на его картине. Хочу, чтобы меня видели в Риме, и в России, и на всем белом свете, чтобы все знали, что была такая девушка, как я... такая красивая!.. И ты в это дело не мешайся! говорю тебе! Будешь много сторожить меня, – не устережешь, а, наоборот, я на зло тебе так сделаю, что ты меня вовсе потеряешь... Слышал?..

– Слышал! – угрюмо процедил сквозь зубы Альберто... – Мое дело – предупредить, а послушаться или нет – ваше...

– Buon giorno, signor russo!⁹

Он почтительно раскланялся с Лештуковым, который

⁹ Добрый день, синьор русский! (*ит.*).

быстрым твердым шагом всходил по мосткам на веранду.

– Buon giorno, signor!... – любезно улыбнулась ему и Джулия.

Лештуков бросил на девушку рассеянный взгляд и, дотронувшись рукой до серой шляпы, пошел дальше...

– La Signora non è pronta ancora!¹⁰ – крикнула ему вслед Джулия, – она недавно только вышла из воды и одевается в кабинете...

– Ну и прекрасно... – пробормотал Лештуков, садясь верхом на перила. – Здравствуйте, Джулия! Как поживаете? Впрочем, что же и спрашивать? Хорошеете, здоровеете и цветете.

Девушка засмеялась.

– Даже вы заметили? Вот чудо-то, signor!..

– А вы, ragazza mia¹¹, разве считаете меня слепым?

– Нет, у вас глаза и зоркие, и... красивые, – только они не для нас, бедных! У вас глаза, как магнитная стрелка: всегда их тянет в одну точку к... к Полярной звезде! – по сторонам не заглядываются... Зачем синьор так запоздал? Пришли бы раньше, – увидели бы, как синьора Маргарита плавала... Она делает успехи... Сегодня уплыла далеко-далеко в море... Мы даже испугались: хозяин хотел плыть за нею...

Лештуков с хмурым любопытством взглянул в лукавые глаза девушки, хотел что-то сказать, но, спохватившись, рав-

¹⁰ Синьора еще не готова! (*ит.*).

¹¹ Моя девочка (*ит.*).

нодушно протянул долгое «гм» и затем заговорил – вместо того, что хотел сказать, – совсем другое.

– Когда ваша свадьба, Джулия?

– Свадьба, signor?! Я и не мечтаю о свадьбе.

– Вот как! А я, признаться, думал, что вы невеста Альберто.

– Альберто – добрый малый, синьор, но... чтоб идти за него замуж... нет, синьор, я подумаю и еще много раз подумаю.

– Смотрите: не продумайте своего счастья.

– О, я имею право ждать... Вы, может быть, думаете, что я бесприданница, синьор?

– Миллионов Ротшильда у вас, во всяком случае, нет.

– Но, право же, очень кругленькая сумма в городском банке, синьор. Конечно, – по нашим здешним понятиям: что скопила, услуживая дамам при купальнях. Я отношу на текущий счет все мои сбережения, синьор, каждую субботу. И всегда золотом.

– Так что вы сделаете своего будущего мужа маленьким капиталистом?

– Ну уж нет! Только мужем. Довольно с него и этого удовольствия. Конечно, если я выйду замуж здесь, в Виареджио.

– А вы непрочь бы увидеть свет и дальше?

– Как знать судьбу, синьор? Кто может предчувствовать, куда, тебя бросит будущее и с кем. Я ведь мечтательница. Верите ли? Когда моя служба кончается, купальни закрыты,

ночь над землею и пусто на берегу, я часто прихожу сюда на веранду и сижу одна, одна... Море и небо кругом, небо и море... И звезды... Огромные, зеленые звезды. Вот Большая Медведица. Вот Вега, вот Полярная звезда. Она водит по свету путешественников и мореплавателей. Это и ваша звезда, синьор, потому что вы тоже путешественник. Она моя любимая, синьор. Найду ее на небе да так уж больше с нею и не расстаюсь. Тянет она меня к себе, манит. Только позови, только прикажи.

Глаза Джулии опять алмазами рассыпались... Лештуков покачал головой.

– Знаете ли, что я вам посоветую, Джулия? Поискали бы вы, вместо звезды Полярной, какую-нибудь звездочку попроще да поближе к себе. Здесь они у вас приветливее и светлее сияют.

Яркие краски прелестного лица Джулии сразу потускли.

– О, синьор, – возразила она, и в голосе звучала горькая обида. – Я сама знаю, что это мечты, только мечты. Что со мною будет, угадать легко... Выйду замуж за булочника или бакалейщика, откроем торговлю или таверну. Ха-ха-ха! только мужу в руки дела не дам. Что мое, что твое, – все оговорю в свадебном контракте. Нарочно в Пизу поеду, оттуда адвоката привезу.

– Это неглупо, Джулия, – одобрил Лештуков, делая вид, что не замечает ее недовольства. – А добираться до полярных звезд и далеко, и мучительно: это – труднодостижимые,

холодные звезды; они светят, да не греют, Джулия... Верьте слову опытного друга!

– А если б, синьор опытный друг, я сказала вам то же самое?.. вы послушались бы меня?

– Ха-ха! Вы лукавая девочка, Джулия!..

– Какую мать родила, синьор!..

– Ма... ессо la signora!¹²

¹² Однако... синьора! (*ит.*).

IV

Решетчатая дверь кабины отворилась, и на пороге появилась женщина. На лице Лештукова растаяли все облака, накопившиеся на нем после бессонной ночи. Точно его солнцем пригрело, точно в жилы ему прибавили фунт свежей, молодой крови.

– Я здесь, как видите, – сказал он, кланяясь, – я не мог вас проводить, зато не вытерпел, пришел за вами...

– Я знала, – отвечала женщина звонким, высоким голосом, улыбаясь Лештукову всем лицом – круглым, розовым, неправильным.

На щеках у нее дрожали ямочки, а большие, внимательные глаза были полны того довольства, какое бывает у людей лишь в то время, когда им везет счастье в чем-нибудь давно желанном или задуманном. Это была стройная, гибкая женщина с движениями, полными нервной силы, – по первому взгляду можно было сказать, что пред вами существо, которое нервами живет и вознёю с ними занимает три четверти своей жизни. Вся в их власти, она – то полумертвая, вялая, безынтересная, даже не красивая; то выпадет такой счастливый денек, что она может смело соперничать с самой эффектной красавицей. Подобных женщин создают туалет и настроение. Сегодня туалет был выбран как нельзя удачнее, нервы отдыхали, – и Маргарита Николаевна Рехтберг пока-

залась Лештукову интереснее, чем когда-либо.

– У вас прекрасный вид, – сказал он. – И я теперь особенно рад этому. Вы здоровы, – и, значит, вы спокойны. А, признаюсь вам, – пора. Черт знает, какую неделю мы прожили! Море гудело, вы кисли и... *passsez le mot!*¹³ тоже гудели... Но вот – хвала небесам – выглянуло солнышко.

– А вам так скучно было его ждать? – бросила быстрый вопрос Маргарита Николаевна, – так вы бы не дожидались, ушли.

Лештуков покачал головой и засмеялся, растроганно и тепло глядя ей в смеющиеся глаза.

– Зачем? Я ведь знаю, что после ненастья солнышко светлее светит, теплее греет и краше выглядит. А ненастье – вещь скоро преходящая.

– Однако знаете: неделя ненастья – неделя пропащей жизни... Разве у вас их так много в запасе?

Лештуков молча снял шляпу и склонил пред Маргаритой Николаевной свою черную, мохнатую голову: там и сям поблескивали нити седины.

– Вот видите, – сказала Маргарита Николаевна, – уже снежок заметен. Ох, милый друг, «не теряйте дни золотые – их немного в жизни сей».

Лештуков вместо ответа принял театральную позу и, указав на ряд парусов, острыми треугольниками серевших на горизонте, произнес трагически:

¹³ Извините за выражение! (*фр.*).

Под ним струя – светлей лазури,
Над ним – луч солнца золотой,
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!..

– Ах, пожалуйста, не пугайте меня стихами. Я их боюсь. Поэты, по-моему, все равно, что пророки: они изрекают афоризмы и сентенции, которых мы, простые смертные, не понимаем, которые нам, простым смертным, решительно ни на что не нужны, а все-таки мы насильно обязаны считаться с ними, потому что они «божественный глагол». И какие там бури?.. Бури... гм... Могу сказать!.. Просто серенький, кислый, drobный северный дождик, неизвестно зачем заплывший под это чудесное небо. Я хандрю, а вы мне аккомпанируете. Это делает честь вашей любезности и терпению, но не делает чести вашему благоразумию и вкусу. Если бы я еще, в самом деле, была способна на какую-нибудь бурю, – куда ни шло!.. Но семидневный дождик – брр... Как вы думаете: если бы король Лир, вместо того чтобы попасть на одну ночь под ливень, гром, молнию и прочие бутафорские прелести, обязан был скитаться семь дней под осенним дождичком? Этак, знаете, – кап... кап... словно сквозь мелкое сито... И над головою серая туча, скучная, пухлая, надутая, точно провинциальная чиновница с флюсом? Я уверена, – Лир или возвратился бы к своим преступным дочерям, или, по крайней мере, попросил бы зонтика.

– Зонтиком-то обзавестись и я бы не прочь, – улыбнулся Лештуков...

– Да и обзаводитесь, – быстро отразила Маргарита Николаевна, – жаль только, что скверным... Поди, коньячная порция уже принята?

– В самых скромных размерах.

– Работали бы лучше.

– Дело не медведь: в лес не уйдет. Нельзя служить сразу двум богам.

– То есть?

– Вам и литературе.

– Как это лестно для меня! Но позвольте: два месяца тому назад, при первых наших встречах, вы меня уверяли, что я проливаю свет на ваш образ мыслей, открываю вам новые горизонты, что я ваше вдохновение, в некотором роде суррогат Музы. И вдруг... о, небо! Верьте после этого мужчинам!

– Вы вот стихов не любите, – отшучивался Лештуков. – А ведь за мной в этом случае какой адвокат-то стоит: сам Пушкин.

– Пушкин? «Пушкин – это старо», – говорила одна моя подруга. Но у меня слабость к умным старикам. Что же говорит Пушкин?

– «Любя, я был и глуп, и нем...»

– Конечно, если уж сам Пушкин... Отчего же в компании с ним не почувствовать себя глупым? Но вы знаете выражение Виктора Гюго: «Я предпочел бы умный ад глупому раю».

А я предпочла бы умного... даже Лештукова – глупому... даже Пушкину.

Лештуков опять задекламирал:

Погасший пепел уж не вспыхнет;
Я все грущу, но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет.
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять!

Маргарита Николаевна засмеялась, – ямочки на ее щеках заиграли.

– Вы сегодня строите шута. Но это лучше, чем пить... А все-таки исправьтесь.

– Совсем прикажете исправиться? Так, чтобы – начать «поэму песен в двадцать пять»?

Маргарита Николаевна окинула его с ног до головы взглядом смеющимся и счастливо туманным. У нее странно шевельнулись плечи и капризно задрожала насмешливая нижняя губка.

– Нет, – полусшепотом бросила она из-под веера Лештукову, – совсем не надо... Это, кажется, мне будет самой дорожке... а слегка, немножко... ну, хоть на столько, чтобы не смотреть на меня такими выразительными глазами... Ведь это не глаза, а вывеска, на которой всякий прохожий может прочитать; «Лештуков и Рехтберг. Патентованная фабрика

всеобъемлющей любви по гроб...»

– Без отпуска ни оптом, ни в розницу! – с кривою усмешкою возразил Лештуков.

Она сделала вид, будто не слышит, и трещала скороговоркою:

– А затем давайте вашу руку и ведите меня в отель завтракать: я – как ваш Ларцев выражается – «проплавалась и в аппетите».

– *Hübsches Paar!*¹⁴ – сказал солидный, добродушного вида немец другому, такому же солидному и добродушному, когда Лештуков под руку с Маргаритой Николаевной спускались с веранды к сыпучим береговым пескам.

Джулия пожелала им здоровья и обдала их при этом целым фейерверком искр из своих горячих глаз.

– Вот, господин искатель сильных ощущений, в кого вам следовало бы влюбиться! – сказала Лештукову его дама. – Вы эстетик, а она – красавица. Вы ищете в бурях покоя, а у этих южных девчонок, у каждой сидит по черту в душе и по три – в теле, так что по части бурь вы будете совершенно обеспечены... Что вы смеетесь?

– Мне сегодня удивительно везет на разговоры об этой Джулии.

– Зачем же скромничать? и с самой Джулией, – прибавьте. Я видела, как вы красовались пред нею на перилах. Для человека, который уверяет, будто бы не в состоянии «начать

¹⁴ Прекрасная пара! (нем.).

поэмы песен в двадцать пять», очень эффектно, клянусь вам.

– Я ее учил уму-разуму. У них тут завязалась чепуха...

И он коротко передал Маргарите Николаевне похождение художника. Маргарита Николаевна слушала без особенного интереса. Когда она бывала в духе, события и разговоры скользили по ней, почти не зацепляя ее внимания... Она принадлежала к числу тех женщин, чья эгоистически нервная суетня и вечное ношение с собственной своею особою так наполняют их узенькое «я», что редко их интересует что-либо постороннее. Поэтому она мысленно примерила Ларцева как героя романа к требованиям своего воображения и резюмировала свое впечатление коротким:

– Удивляюсь Джулии... он блондин...

А затем, снизу и искоса глядя в лицо Лештукова, тихо спросила:

– Вы что же это? и впрямь вам так туго приходится от «Полярной звезды», что вы жалуетесь на нее даже Джулии?

Лештуков насильственно улыбнулся.

– Хоть мучь, да люби! – возразил он голосом слишком уж спокойным, чтобы быть естественным.

Круглое личико Маргариты Николаевны вдруг все задрожало и побледнело, глаза затуманились и заискрились в одно и то же время, губы сложились в странную гримасу, и бесконечно ласковую, и – вместе с тем – почти хищную. Она тяжело налегла на руку Лештукова и, на мгновение прижавшись к нему горячим, трепещущим плечом, быстро шепнула:

– Милый вы... милый мой...

Но не успела еще кровь стукнуть Лештукову в виски, как уже Маргарита Николаевна отшатнулась от него и – спокойная, насмешливая и кокетливая – говорила:

– Пожалуйста, пожалуйста... Не делайте диких глаз и воздержитесь от декламации. Мы на улице, и я ничуть не желаю, чтобы нас приняли за только что обвенчанных новобрачных.

V

Отель, где квартировали Лештуков и Рехтберг, был импровизирован маленьким русским обществом, сдружившимся в скитании по итальянским городам. Начало колонии положили две богатые и веселые петербургские немки Берта Рехтзаммер и Амалия Фишгоф, – по профессии, оперные певицы «на усовершенствовании». Они весьма аккуратно рассчитали, что вместо того, чтобы самим проживаться в дорогих отелях, во время купального сезона, гораздо будет выгоднее нанять целый дом и напустить в него жильцов, а в жильцах недостатка в эту бойкую пору года не будет. Затем разослали по итальянским курортам письма к знакомым, с описанием прелестей Виареджио: «У нас очень веселое общество, а жизнь вам обойдется дешево, потому что поселиться вы можете у нас. Мы занимаем огромный дом, комфорт полный» и т. д. Приглашение было заманчиво – и пташки стали понемногу слетаться. Приехал русский художник Кистяков, который начал с того, что повесил в своей комнате портрет Бакунина. Приехал другой русский художник Леман, который начал с того, что занял у хозяек денег, а затем обругал их немками и стал повсюду и всех уверять, что они шельмы и на обухе рожь молотят.

– Немки! сам-то кто? – кипятилась Берта, а Амалия куksилась:

– Уж какие мы немки. На Васильевском острове родились, по-немецки двух слов связать не умеем.

– А главное, – язвила Берта, – только с таким нахлебником молотить рожь на обухе, как вы, Леман. Вы, душечка, которую неделю – «не при суммах-с»?

Леман наполнял белые бесстыжие глаза шутовскою угрозою и шипел:

– Ш-ш-ша, киндер!¹⁵ Счеты меркантильные не должны тревожить уши благородные.

Приехал из Нижнего красавец-мужчина, купеческий сын Федор Федорович Арбузов, он же, по-театральному, Франческо Д'Арбуццо, широкогрудый, широкоплечий богатырь в русых кудрях Чурилы Пленковича и в русой бородке. Природа отняла его у родительского лабаза, одарив воистину стопушечным басом и почти детскою, до того благоговейною, страстью к оперному искусству. Едва он появился в Виареджио, Леман так на него и надел и совершенно забрал в руки, как его самого, так и его богатейший гардероб да, в значительной степени, и кошелек. Собираясь сделать итальянскую карьеру, влюбленный в Италию, Арбузов до того итальянизировался, что даже православное имя-отчество возненавидел, а новым знакомым так и представлялся:

– Имею честь: Франческо д'Арбуццо, бассо профундо ас-солюто¹⁶ и потомственный почетный гражданин.

¹⁵ Дети! (нем.).

¹⁶ Абсолютно низкий бас (ит.).

Леман тем и пользовался. Нарочно, за обедом или чаем, при полном колониальном сборище, начнет привязываться:

– Ваше благоутробие! почтеннейший Федор Федорович! Арбузов свирепеет и поправляет пятерней русы кудри.

– Лемка! ты опять?

– Врешь, брат. При публике не боюсь. Помилуйте, господа: утром прошу у этого Гарпагона займы двадцать франков, – не дал. И после этого звать тебя Франческо? Врешь, хорош будешь и Федькой. И то через фиту, а не через ферт.

Франческо багровел.

– То есть до чего ты в невежестве своем нисколько не образован, – это один я в состоянии понимать!

– Дай двадцать франков, – стану образованный.

Вступалась жалостливая Амалия. Она Лемана терпеть не могла, но еще больше надрывалась сердцем, когда он коверкался веселым нищим и клянчил.

– Франческочка, дайте ему: неужто вам жалко?

– Да не жалко, а зачем он... Вот бери... только помни, черт: за тобою теперь сто сорок...

– О, Франческо! Приди в мои родительские объятия.

– И брюки мои, которые заносил, еще в пятнадцати франках считать буду.

– Фу, Франческо, при дамах!

Одевался Франческо итальянцем паче всех итальянцев: рубашка фантэзи, широчайший пояс, по которому ползет цепочка с тяжеловесными брелоками; белые туфли-скорохо-

ды, пестрейший галстук с огромным солитером в булавке, персты также блистали камнями. Но говорить по-итальянски знал только слова комнатные и «адженцииные», то есть кое-что из жаргона артистического и закулисного, наслушавшись его в бюро разных театральных агентов. По-русски же говорил – точно все время, без антрактов, горбуновские анекдоты рассказывал.

– Эка голосище-то у вас, Франческо! – хвалил его Кистяков, – просто: падите, стены Иерихонские!

Франческо самодовольно стучал кулаком по грудице своей.

– Да-с, насчет чего другого, а что касающее силы в грудях, вне конкуренции-с.

И повествовал, строго и величественно посматривая по сторонам:

– Намедни маэстро дал нам с Амалией Карловной дуэт один...

– Ангел мой, – ввязывался Леман, – говорят «дуэт», а не дуэт. Дуэт из окна, а дуэт из оперы.

– Ну, дуэт, – не все тебе, вихрастому бесу, равно? Из «Гугенотов»... есть такая опера. Голосочки наши вам, господа компания, известны. Выучили мы уроки, приходим к маэстре... «Кантато?» – «Чрезвычайно как много кантато, маэстро». – «Ведремо...» И зовет к пьянину-с. У Амальхен сейчас бледный колер по лику и трясение в поджилках. Потому они, по дамской слабости, маэстру ужас как обожают, а боятся,

так даже до трепета-с. А мне так довольно даже все равно.

– Неправда, неправда, – обличала Амалия, – и вы тоже боитесь.

Франческо изображал на лице своем величайшее, почти негодующее изумление.

– Я?

И повторял для вразумительности по-итальянски:

– Ю?¹⁷

И с решительностью делал пред носом своим итальянский жест отрицания одним указательным пальцем:

– Mai!¹⁸

– Еще как боитесь-то. Всякий раз, как идти на урок, коньяк пьете.

– Коньяку я всегда согласен выпить, потому что коньяк бас чистит. Но чтобы бояться... посудите сами, справедливые господа: ну с какой стати мне бояться итальянской маэстры? Это им, дамскому полу, он точно грозен, потому что, при малодушии ихнем, форс на себя напускает, в том расчете, чтобы больше денег брать-с. Либо вот Джованьке, потому что даром учится и голос у него теноре ди грация. Стало быть, без страха к себе, жвдкий. А мы, слава Тебе Господи-с! Бывало, в Нижнем, на ярмарке-с, зыкну с откоса: «Посматривай!!!» В Семеновском уезде слышно-с! Могу ли я после

¹⁷ Я? (*ит.*).

¹⁸ Нет; никогда! (*ит.*).

этого при такой аподжио¹⁹, какого-нибудь маэстры бояться? Кто кому чинквелиру²⁰ за урок платит? Я ему, али он мне? Странное дело! Я плати, да я же еще нанятого человека опасайся? Удивительная вы после этого публика, братцы мои!

– Да ты не отвлекайся, – дразнил Леман, – про дуэт-то расскажи.

Дамы требовали, аплодируя, топя ножками:

– Дуэт, дуэт, дуэт!

– Хе-хе-хе! что же дуэт? Очень просто. Маэстра сел. Мы стали... Говорю: «Амалька, держись!»

– Никогда вы меня Амалькой не называли! – вспыхнула немка. – Что за гадости?

Но Франческо был уже в азарте, что называется – до забвения чувств.

«Амалька, – говорю, – не выдавай! Покажем силу!...» Запели-с. А он, окаянный, маэстра-то, оказывается в капризе своих чувств. «Воче, – кричит, – воче фуори²¹

¹⁹ Муз.: неаккордовый звук (*ит.*).

²⁰ Монету в пять лир (*ит.*).

²¹ Голос... голос наружу (*ит.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.